#### Румынка[[1]](#footnote-1)

#### Ирина Владимировна Одоевцева

Михновский был очень обыкновенный, одинокий человек. Жил он в Париже так: днем работал на «Рено»[[2]](#footnote-2), вечером обедал в дешевом ресторане и, вернувшись домой, полежав полчаса, принимался за перевод.

Переводил он «Мадам Бовари». Переходя как-то раз по набережной Сены, он купил за франк растрепанную книгу. Принес домой, прочитал и попробовал от скуки перевести страницу. Занятие ему понравилось. Теперь каждый вечер он сидел часа два, согнувшись над Флобером.

Он знал, что «Мадам Бовари» давно переведена. Но ведь он только так, для души, для утешения, как он сам говорил.

Михновский аккуратно разложил рукопись на столе, аккуратно обмакнул перо в чернильницу и зажмурился, представляя себе, что вот он уже кончил весь перевод, переписал его четким красивым почерком в черные блестящие клеенчатые тетради. Эти тетради стоят на полках, и от них как будто в комнате светлее.

Только скоро ли это будет? Он стал подсчитывать, сколько еще недель и дней ему придется работать. Но чем дольше он считал, тем скучнее ему становилось.

«Ну и кончу. Перепишу. А дальше что? Кому это нужно?»

Он встал и зашагал из угла в угол.

«Я, должно быть, очень несчастен, — подумал он вдруг и остановился, так его поразила эта мысль. — Да, да, очень несчастен... Но раз мне так плохо, зачем я живу? Ведь так просто... Нет, умереть всегда успеешь».

Он почувствовал, как в нем где-то там, очень далеко, вздрогнула маленькая надежда. Совсем маленькая и слабая, но он все-таки улыбнулся и махнул рукой.

«Мы еще повоюем».

Он никогда не выходил вечером, но сейчас торопливо надел пальто, почистил старую шляпу и старательно завязал шарф перед зеркалом.

«А ведь я еще недурен, — подумал он, глядя на свое молодое утомленное лицо. — Ив глазах что-то такое трагическое, — определение понравилось ему, он улыбнулся. — И зубы какие! В меня еще влюбиться можно».

Он вышел на улицу, плотнее запахнул легкое пальто. Было холодно. Ему захотелось зайти в кафе. Но тогда не хватит завтра на обед. Он шел быстро, широко ступая длинными ногами в стоптанных сапогах. Вот и бульвары. От шума, света и толпы стало как будто теплее на минуту.

«Зайду в кафе. Черт с ним. Завтра поголодаю».

Кто-то дернул его за рукав.

— Михновский! — на него смотрели светлые внимательные глаза Орлова.

— Ты? Я думал, ты в Берлине.

— Как живешь? — Орлов оглядел его. — Плохо?

— Одно слово, служу на «Рено».

Орлов взял его под руку.

— Зайдем в кафе, потолкуем.

Михновский пил пиво и ел круто сваренные яйца.

— Да, вот как тебе повезло, брат. Не то что мне. Ну, рассказывай. На чем ты разбогател?

Орлов расстегнул меховой воротник пальто и, улыбаясь, как-то особенно любовно и нараспев проговорил:

— Шарикоподшипники.

— Шарикоподшипники? — переспросил Михновский.

— Да. Хорошее дело. Ты сам увидишь, — Орлов потер руки. — Вот что. Брось-ка ты свой «Рено» и переходи на службу ко мне. Ты ведь по-французски хорошо и бумагу составить можешь, а я двух слов связать не умею. Так вот, вроде секретаря будешь. Переезжай ко мне. Тысяча франков, на всем готовом.

После шума машин и приводных ремней на «Рено» сидеть в кабинете в Пасси[[3]](#footnote-3) было так упоительно, почти блаженно. Горничная в белом переднике подала на подносе письма и, тихо ступая по мягкому ковру, вышла, осторожно закрыв дверь.

Михновский прочитал письма, отложил их в сторону и, вытянув перед собой длинные ноги, стал любоваться новыми рыжими туфлями на белой толстой подошве.

Вот этими самыми ногами в рыжих туфлях он войдет в приятную, мягкую, обеспеченную жизнь. Теперь это уже ясно. Он закрыл глаза и, улыбаясь, произнес нежно и нараспев:

— Шарикоподшипники.

Перевод «Мадам Бовари» валялся вместе с старым костюмом в чемодане. Теперь, спеша по делам, Михновский не задумываясь брал такси. По вечерам ходил с Орловым в театры и рестораны. Делал все то, о чем так долго мечтал. В действительности это было менее чудесно, но все-таки очень хорошо.

Михновский и Орлов смотрели ревю[[4]](#footnote-4).

По сцене ходили женщины, разодетые райскими птицами, певец в оранжевом фраке пел высоким голосом, сверкал бриллиантовый занавес, колыхались страусовые перья. Потом какие-то герл в трико ныряли вместе с моржами в огромный аквариум.

Орлов толкнул Михновского.

— Сейчас самое интересное. Румынка.

В пустых до сих пор ложах устраивались дамы. Стало как-то особенно тихо.

— Она шпионка, — сказал кто-то за спиной Михновского.

— Нет, что вы, английский принц чуть не застрелился из-за нее.

Розовый занавес раздвинулся. На сцену быстро вышла очень высокая, очень худая женщина с угловатыми плечами и маленькой головой. Ее черные волосы казались лакированными. На ней было ярко-зеленое платье. Она подошла к самой рампе и, широко разведя худые руки, запела модную песенку.

У нее был глухой и гортанный голос. Она, плохо выговаривая, машинально произносила французские легкомысленные слова. Лицо ее оставалось холодным и спокойным.

Допев песенку, она вдруг резко взмахнула руками, как птица, собирающаяся лететь, и подняла глаза. И эти огромные черные глаза на худом лице казались слишком сияющими, слишком смелыми; они как будто подступали близко-близко, смотрели в самые зрачки зрителей. В их взгляде трепетала такая смелая, веселая, гордая жизнь, что становилось страшно и сердце начинало громко стучать.

И хотя она теперь кружилась по сцене, высоко поднимая худые ноги с острыми коленями, глаза ее ни на мгновение не отрывались от глаз зрителей. Михновскому стало как-то неприятно. Скорей бы она кончила.

Она резко поклонилась, словно клюнула, и убежала за кулисы.

Раздались аплодисменты, свистки. Кто-то крикнул:

— Шпионка!

Но она снова появилась, и все стихло. Теперь на ней было широкое, легкое красное платье. Она запела. Движения ее были легки и угловаты. Это не был танец, а какие-то резкие, странные прыжки. Красное платье металось по сцене. Пение перешло почти в крик. Казалось, она изображает пожар. Одновременно и огонь, и гибнущую в огне...

Кричали, аплодировали, свистели. Скомканная программа полетела на сцену. Толстый лысый господин, стоя в первом ряду, надрываясь, кричал: «Позор! Позор!» Какой-то молодой человек бросил красные розы на сцену из ложи. Но ее уже не было. Она, не поклонившись, убежала со сцены. Занавес упал.

Орлов рассмеялся.

— Вот так скандальчик. Подстроено, должно быть, для рекламы. Про эту румынку черт знает что рассказывают. Врут, конечно. Голоса никакого, но темперамент бешеный.

Михновский поморщился:

— Противная она, — и стал смотреть на сцену, где теперь мирно кувыркались китайцы с бумажными зонтиками.

Но программа не доставляла ему больше удовольствия.

Опять голые женщины, опять цветы и перья. Нет, довольно. Надолго.

У бокового подъезда стояла толпа, ожидавшая артисток. В ту минуту, когда Михновский и Орлов проходили мимо нее, дверь отворилась, и быстро вышла румынка. Казалось, что от ее золотого манто, от ее бриллиантов, черных волос и огромных глаз исходит сияние. За ней в цилиндре и в накидке, распахнутой над белой грудью фрака, шел молодой человек, бросивший розы.

Она остановилась, посмотрела на толпу и улыбнулась.

— Это вы меня ждете? — сказала она, с трудом подбирая слова. — Спасибо. Спокойной ночи.

Шофер открыл дверцу автомобиля. Мотор зашумел, блеснули фонари.

Михновскому, как и каждому в толпе, показалось, что она улыбнулась только ему и только ему пожелала спокойной ночи.

Он закурил.

— Ничего в ней нет. Одна реклама.

— Да, конечно, — согласился Орлов. — Но все-таки...

— Ничего нет, — рассердился Михновский. — Не спорь, пожалуйста.

Все шло по-прежнему. Михновский по-прежнему работал, ездил на заводы, обедал, гулял. Все шло хорошо, даже очень хорошо, но он был грустен и рассеян. А в тот день, когда он купил себе пальто на шелковой подкладке (лучшее даже, чем у Орлова) и не почувствовал радости, он забеспокоился.

«Я, должно быть, болен. Надо пойти к доктору, — решил он, глядя на весеннее парижское небо. — Это малокровие. Весной всегда развивается малокровие».

Ночью он долго ворочался с боку на бок, все стараясь понять что-то. Но мысли были тревожны и расплывчаты.

«Я болен, больше ничего. Надо пойти к доктору», — подумал он, засыпая.

...Волково кладбище. Он идет по дорожке, шуршащей от желтых сухих листьев. Памятники, могилы. Как хорошо, что он снова в России, в Петербурге. Но почему он на кладбище? Холодно. Голые березы гнутся, раскачиваются. На тонких ветвях большие, черные вороньи гнезда. Сколько ворон! Вороны сидят на березах, на могилах, кружатся над его головой. Карканье, тяжелое хлопанье крыльев. Небо темнеет, кладбище пусто... Только далеко у часовни стоит старуха нищая в черном платке. Ему тоскливо и страшно. Зачем он здесь? Старуха, прихрамывая, медленно идет к нему. Он хочет бежать и не может. Старуха подходит совсем близко.

Он видит огромные, черные, веселые, гордые глаза...

— Румынка, — крикнул он и проснулся. — Румынка, — повторил он, садясь на постель. — Румынка.

И от этого трижды произнесенного слова все сразу стало ясно...

— Вот оно что, — ошеломленно проговорил он. — А я думал, малокровие. Вот оно что...

Все шло по-прежнему. Но теперь Михновский уже постоянно думал о румынке, не мог не думать о ней. Он мучительно старался вспомнить ее лицо, подбородок, рот. Ведь он помнил только ее глаза. Он старался представить себе, как она ходит по улице, смеется, разговаривает, спит.

Он вздрагивал при мысли, что она вот сейчас, может быть, открывает какую-то дверь, входит в какую-то залитую солнцем комнату. Она садится в кресло, ее шелковое платье шуршит. Она поднимает руку, наливает чай. Ее губы касаются края чашки...

Он закрывал глаза от волнения.

Адрес... Узнать ее адрес. Как он раньше не догадался? Он знал, что она больше не выступает, но адрес ее должно быть известен в театре.

Служащий в потертом черном пиджаке покачал головой.

— Нет, monsieur, мы не имеем права.

— Но все-таки. Мне необходимо...

— Ничего не могу сделать, — повторил служащий, но голос его звучал менее твердо.

Михновский вынул бумажник.

— Я вам буду очень благодарен.

Глаза служащего стали хитрыми и круглыми...

Михновский остановился перед подъездом. Никогда еще он не бывал в таком отеле. Ему стало страшно. Глупости, он одет прилично. Не надо смущаться. Он только спросит, живет ли она еще здесь. Больше ничего.

Он толкнул вертящуюся дверь. Швейцар низко поклонился.

— Мадам принимает.

...Все произошло так быстро. Мальчик в голубой куртке распахнул дверь лифта. Михновский хотел объяснить, что это недоразумение, что он зайдет в другой раз, но лифт уже остановился. Но лакей, ждавший в коридоре, уже подводил его к лакированной двери.

Из-за двери донесся знакомый гортанный голос:

— Ах так... Я тебе этого не прощу!.. Войдите.

Дверь как-то слишком широко распахнулась. Огромная комната. Всюду цветы. На одном из окон опущены шторы. Бледный дневной свет странно и неприятно смешивается со светом хрустальной люстры. У камина, глядя в огонь, стоит молодой человек, бросивший в тот вечер цветы на сцену. Теперь он в форме французского офицера.

На диване, среди подушек, румынка. На ней широкое желтое платье. Она поднимает на Михновского подведенные веселые глаза. Молча смотрит на него, словно что-то соображает. Вдруг протягивает руки вперед знакомым движением, как птица, собирающаяся лететь, вскакивает, почти бежит к нему навстречу.

— Вы! Наконец-то!

Как во сне целует он ее протянутую узкую руку. Он близок к обмороку.

— Я позволил себе... Простите...

Но она перебивает его.

— Как я рада, что вы пришли. Я так давно вас жду.

«Это недоразумение. Она принимает меня за другого. Надо объяснить...»

— Садитесь сюда, на диван. Поближе.

Она устраивается среди пестрых подушек, подбирает тонкие ноги в желтых чулках.

— Ах, как я рада.

Она, покачиваясь, заглядывает ему в лицо.

Он видит совсем близко ее глаза и снова, как тогда в театре, этот взгляд подступает к его сердцу, и ему трудно дышать. Она протягивает ему портсигар, сама зажигает спичку.

Мне холодно. Дайте мне шаль.

Он встает, берет с кресла шелковую шаль, пахнущую сладко и душно, и накидывает ей на плечи. Она поднимает длинные накрашенные ресницы, смотрит на него снизу вверх.

— Какой вы большой. Вы, должно быть, очень сильный.

Офицер вдруг отходит от камина.

— Надо велеть принести еще дров, — говорит он.

Она оглядывается.

— Как? Вы все еще здесь? Простите, я думала, что вы ушли. Вы, кажется, незнакомы?

Михновский жмет руку офицеру.

— Вы русский?

— Да.

— И офицер?

— Да, я служил...

— Ах, нет. Пожалуйста, без военных разговоров.

Она холодно через плечо смотрит на офицера.

— Ведь вы, кажется, их тоже не любите, — подчеркнуто говорит она, потом, улыбаясь, переводит взгляд на Михновского. — Посмотрите, Марсель. Он гораздо выше вас.

— Вы правы, — соглашается офицер.

Михновский снова сидит рядом с ней.

— Я видел вас на сцене...

Она кладет свою узкую ладонь на его руку.

— Оставьте. Я прежде всего женщина, а не артистка. И я так рада, что вы пришли. Так мы обедаем сегодня вместе? Приезжайте за мной в восемь. Я свободна весь вечер. Мы покутим... Весной так хочется безумств, — полунасмешливо, полумечтательно говорит она.

Надо благодарить или нет? Ища помощи, он оглядывается на офицера. У офицера бледное, расстроенное лицо.

«Что с ним? — смутно думает Михновский, — ведь все так хорошо».

— Теперь идите. Я знаю, у вас дела. Приезжайте в восемь.

Она доводит его до двери. Он снова целует ее пальцы, вдыхая душный запах ее духов.

— Но помните, вы обещаете вести себя...

— Да, да разве я могу посметь...

Она смеется возбужденно, заглушая его слова, поднимается на ноги, шепчет ему на ухо.

— Да идите же, наконец! — и снова смеется, качая головой. — До вечера.

Дома его ждал Орлов.

— Ну как? Ты был на заводе?

— Ах, нет. Я не ездил. Послушай, одолжи мне смокинг. Я обедаю с одной дамой. Как ты думаешь, пятисот франков хватит? Посоветуй, куда ее везти?

Смокинг оказался ему не по росту — короткий и узкий в плечах. Длинные руки Михновского вылезали из рукавов.

— Нет, сними, в пиджаке приличнее. Скажешь, что не успел переодеться. Оставь, очень хорошо. Она не заметит. И это все пустяки.

В половине восьмого Михновский сидел уже в такси. Кажется, надо привезти цветы? А может быть, не надо? Нет, с цветами как-то удобнее.

Кокетливая продавщица грациозно вынимала из хрустальной вазы свежие красные розы. Глядя на розы, Михновский вдруг почему-то ясно вспомнил тот вечер, когда он бросил перевод, и то, как он думал о смерти и как почувствовал, что умирать еще рано, что что-то еще будет в его жизни. Это «что-то» и есть то, что произойдет сейчас. Да, только для этого он жил все эти годы.

...Открыла горничная.

— Мадам уехала.

— Как?.. Куда?..

Горничная чуть-чуть улыбнулась.

— Я не знаю. Мадам никогда не говорит мне, куда едет.

В автомобиле он вспомнил, что надо было оставить розы. Оставить? Зачем? Не все ли равно.

Автомобиль остановился. Михновский долго смотрел на счетчик, не понимая, сколько платить. Он все еще держал розы в руках. Они мешали ему, и он бросил их на мостовую.

Орлов удивленно поднял глаза от газеты.

— Что так скоро? Видно, и смокинг не помог...

Михновский только молча махнул рукой.

Девять часов утра... Половина десятого... Десять... Михновский доходит до угла и поворачивает обратно. Еще рано, она еще спит. Половина одиннадцатого... Одиннадцать. Теперь можно. Наверно, встала.

Он стучит в знакомую полированную дверь.

— Войдите.

Она сидит у окна перед зеркалом.

— Ах, это вы. А я думала, маникюрша.

Лицо ее желто и устало. Стриженые волосы топорщатся во все стороны.

Михновский молча смотрит на нее. Господи, да ведь она некрасива. Сколько ей лет? Сорок?..

В открытую дверь белеет широкая неприбранная кровать.

— Вы вчера приезжали за мной? Я забыла сказать, что не надо. Я думала, вы сами поймете...

Она поднимает брови.

— Я должна вас поблагодарить. Вы мне очень помогли. Да. Вы пришли так кстати. У меня дело, — она хмурится, — очень важное. И все устроилось, благодаря вам.

Она встает.

— Кто вы? Зачем вы приходили?

— Я...

— Вы влюблены в меня? Влюблены, да?

Он кивает головой.

— Ну конечно. Всегда одно и то же, — она коротко и зло смеется. — Вы русский? Бывший офицер? И нищий, конечно? Ах, я знаю, знаю.

Она подходит совсем близко и нежно кладет ему руку на плечо.

— Простите меня, но ведь это глупо. Бросьте думать обо мне, бросьте. Женитесь на какой-нибудь русской, здесь их так много. Женитесь, непременно женитесь.

Она гладит его волосы. Ее широкий душистый рукав закрывает ему глаза.

— Мне вас очень жаль, но что же я могу? Не приходите ко мне больше, пожалуйста. Не надо. И главное, не вздумайте стреляться. Ведь все это такие глупости, такие глупости... Вы забудете...

В дверь снова стучат. Входит маникюрша.

— Как досадно, что я занята. Я бы еще поболтала с вами...

Она садится за маленький стол, кладет руки в чашку с водой.

От воды идет пар.

Он смотрит на ее голые ноги в красных туфлях.

Завод Рено. «Мадам Бовари»... Как он был счастлив тогда и не понимал.

Она протягивает ему мокрую, пахнущую мылом руку.

— Прощайте, мой друг. Помните, вы обещали мне...

Он идет к двери.

— Постойте!

Она порывисто вскакивает, чашка опрокидывается, вода течет на ковер.

— Я забыла. Вот, я приготовила для вас, — она протягивает ему серый конверт...

...Только перейдя площадь Этуаль[[5]](#footnote-5), Михновский вспомнил о конверте.

В нем лежала ее фотография в профиль. Непохожая, должно быть, давно снятая. Внизу надпись угловатым почерком: «Ненавистному другу с благодарностью».

Пять тысячефранковых билетов веером упали на тротуар.

1. Первая публикация: Звено. 1926. 28 дек. № 200. С. 7—9. [↑](#footnote-ref-1)
2. «Рено» — завод автомобильной компании «Рено», расположенный в пригороде Парижа Булонь‑Биянкур. В 1920‑х гг. на заводах «Рено» и «Ситроен» работали, наряду с другими иностранцами, тысячи российских беженцев. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пасси — жилой район в 16‑м округе Парижа, где поселились многие русские эмигранты. [↑](#footnote-ref-3)
4. Михновский и Орлов смотрели ревю. — Ревю (фр. revue) — популярное в 1920‑х гг. театральное представление, состоящее из элементов оперетты, балета, варьете и кабаре. Обычно исполнялось на сцене мюзик‑холлов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Этуаль — знаменитая парижская площадь, завершающая перспективу Елисейских полей, на которой расположена Триумфальная арка. [↑](#footnote-ref-5)